

Одним из документов советско-американской литературной дружбы является приветствие Президиума Союза советских писателей IV конгрессу Лиги американских писателей в 1939 г.

«История связала воедино судьбы отдельных народов,— писали авторы приветствия, вспоминая историю взаимоотношений нашей страны и Америки.— Фашистская агрессия опасна и беспощадна, если она не встречает на своем пути решительного отпора. В этом случае для нее не могут служить препятствием ни горы, ни океаны. Но фашистская реакция подло труслива, когда она наталкивается на сплоченность и единство всех общественных сил, способных бороться за мир и культуру. В деле создания этого единства роль писателя, которому доверены мысли и чаяния широчайшей народной массы, очень велика. Мы уверены в том, что Лига американских писателей исполнит свой долг перед человечеством до конца».

Лучшие представители американской интеллигенции всегда ясно сознавали общность интересов обеих стран не только в области культуры, но и в деле совместной защиты народов всего мира от угрозы фашистской агрессии.

Эрскин Колдуэлл, который недавно был гостем СССР, тогда же писал: «Для благополучия США имеет все большее значение расширение и укрепление культурных связей между США и СССР... К нашему великому благу мы отвергли притязания фашистских стран Европы и наше сближение с СССР должно быть осуществлено возможно скорей».

Эптон Синклер в иронической форме выразил глубокую мысль, когда он заявил: «Даже Гитлер и Муссолини могут принести некоторую пользу человечеству, если они заставят нации, которые верят в демократические идеалы, объединить свои мысли и действия».

Известная американская писательница Линн Зугсмит говорит о своем стремлении «укрепить связи с советскими писателями и советским народом...»

Интеллектуальные связи СССР и США скреплены именами выдающихся писателей обеих стран: Горького и Маяковского, Теодора Драйзера и Эптона Синклера. Эти связи явились предпосылкой того боевого содружества, которое объединяет сейчас десятки писателей стран, входящих в могучую коалицию, поставившую себе задачей уничтожение варварского фашистского режима. Об этом содружестве еще раз говорят помещаемые нами новые высказывания советских мастеров слова и критики.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Встреча англо-американской и советской литератур

Отведем прошлому лишь несколько строк. Ведь о значении Байрона в жизни Пушкина и Лермонтова знает у нас каждый школьник. Увлечение Достоевского Диккенсом привело даже к схожему образу — к Нелли в «Униженных и оскорбленных», так родственно близкой своей одноименнице — Нелли из «Лавки древностей». Правда, и у Диккенса этот образ — не самостоятелен, он перекликается с Фенеллой Вальтер Скотта, в свою очередь увлекшегося таинственной «Миньон» Гете. Но участие нашего Достоевского в этом мировом движении литературного образа произошло именно за счет Диккенса, а не Гете.

Таких примеров из прошлого можно было бы привести множество, но не в них сейчас дело. Важно отметить, что связи русской литературы с английской и американской никогда не были только формальными, а всегда глубоко жизненными, отвечающими подлинным историческим интересам нашего общества. И в этом смысле наши читатели и писатели воспринимают не только современную им англо-американскую литературу, но и ее

классику. Отметим хотя бы два ярких факта: ни на одной сцене мира не живет сейчас такой современной жизнью драматургия Шекспира, как на нашей. Мы ставим ее отнюдь не в плане окаменевшей театральной классики. Стилизация под эпоху или же обратная ее сторона, — чисто абстрактное трюкачество, поверхностная модернизация, — естественно чужды нашей трактовке Шекспира. Почему? Потому что необычайно ожили, приблизились, стали понятными, захватывающе интересными характеры и драматические коллизии Шекспира в их не выдуманном, а подлинно-историческом бытии. Наше могучее время, тот огромный общественный опыт, который накопили народы нашего Союза за какую-нибудь четверть века, — треть нормальной человеческой жизни, — послужили ключом к реальному, действительному раскрытию Шекспира. Еще пример. Вряд ли сейчас у зачинателя английской литературы, Чосера, найдется во всем мире столько заинтересованных читателей, живо воспринимающих его «Кентерберийские рассказы», как у нас. Совсем недавно «Рассказы» Чосера поя-

вились в превосходном переводе И. Капкина и доставили советским читателям поистине огромное наслаждение. Опять спросим себя: почему? Да потому что практический общественный опыт наших народов помогает воспринимать художественную классику, как неумирающее запечатление никогда не умирающего исторического бытия; познание жизни в ее современных глубинах безмерно приближает, объясняет, делает близко, злободневно любую подлинную страницу истории, увековеченную рукою мастера.

Несколько иначе объясняется наш интерес к такому, например, американскому классику, как Брет-Гарт, вряд ли читаемому сейчас в самой Америке и, во всяком случае, читаемому не столь страстно. Его старые переводы в потрепанных томиках бесчисленных советских библиотек всегда «на руках»; библиотекари скажут вам, что получить их для чтения очень трудно, надо предварительно записаться в очередь. Читают его в фабричных и заводских, в колхозных и районных библиотеках так же, как в университетских и академических; недавно один из лучших наших поэтов-переводчиков пришел на мобилизационный пункт, при своем отправлении на фронт, с томиком Брет-Гарта в руках и зачитался им в ожидании своего вызова. Что пленяет советского читателя в Брет-Гарте? Время и дух, конкретная атмосфера его рассказов. Мслодая, новая страна, Америка захватывает нашего читателя чем-то близким и родным. Это борьба с природой, свежий, молодой пейзаж и, неизменно, на его фоне — человеческий труд, рука человека, приложенная к девственным землям; это глубокое уважение к женщине и самая роль женщины, столь же активная и напряженная, как и мужчины, — вот что делает Брет-Гарта интересным для советского читателя. Момент «исчезнувшей романтики» переживается у нас не как «исчезнувшая» и не как «романтика», а как историческая действительность, понятная, хотя и отличная от нашей.

Сто семнадцать лет назад, беседа с Эккерманом, Гете обронил замечательную фразу: «Англичане, как правило, все пишут хорошо, как прирожденные ораторы и как практические, направленные к реальному люди»¹. Он же посоветовал ему: «Держитесь за литературу такой деловой, способной нации, как англичане». Практицизм в его благороднейшем, философском смысле, делающий «практику» критерием каждой истины, деловитость, реализм — эти три главных качества англо-американской литературы, подчеркнутые Гете, — в наше время и для нашего народа приобретают очевидную ценность. Общение с такой литературой и притом во всех ее областях не может не быть творчески плодотворным. Но перечисленные выше качества делают и нашу советскую литературу особо ценной для англичан и американцев. Советская литература шла рука об руку с историческим опытом нашего государства, выросла из новой

практики и знаменем своим выставила реализм.

Рассмотрим же несколько взаимовстреч, имеющих важное значение для всех трех народов. Начну с того, что под «литературой» я в данный момент разумею не только художественное слово. Особенности английского языка, его исключительная прозрачность, ясность, «разговорность», как бы отвечающая основной цели: сделать для тех, кому говоришь, совершенно понятным то, о чем говоришь, — эта благородная доходчивость и популярность английского языка сама по себе повышает для нас значение английских книг по всем отраслям науки и техники и делает их желанными для перевода на наш язык.

Сталкиваясь с английской научной книгой нам за эти годы приходилось неоднократно. Расскажу хотя бы о двух случаях из своей писательской практики. Год назад мы, писатели и поэты, готовились отпраздновать вместе со всей нашей страной восьмисотлетний юбилей великого поэта Низами Гянджеви, родившегося, жившего и умершего в азербайджанском городе Гяндже, среди азербайджанского народа. Наши ученые и филологи много поработали над Низами, наследство которого все целиком было переведено на русский язык и частично — на языки других советских народов. В этой большой работе полезным помощником для нас был недавно скончавшийся блестящий писатель и ученый Англии Эдуард Браун. Его двухтомная *A Literary History of Persia* — выдающаяся работа по изяществу изложения, по обилию привлеченного научного материала и, в то же время, умению сделать самую трудную материю захватывающе интересной. Эдуард Браун был незнаком с собственно кавказской филологией, ему остался неизвестным ряд открытий, сделанных за последнее время нашими учеными. Мы не разделяем взгляда Брауна на Низами, базирующегося, главным образом, на бесспорно устаревшей и ошибочной концепции немецкого ученого конца прошлого века, Вильгельма Бахера. Но, за вычетом этой иногда неизбежной «дани времени», я лично считаю книгу Брауна образцом того, как надо писать историю литературы. Практический смысл, свойственный лучшим английским ученым, сделал для нас эту книгу не только привлекательной, но во многом и поучительной. Так, она дает отпор германо-фашистскому «расовому» мракобесию на многих своих страницах и особенно там, где излагает историю борьбы, разгоревшейся вокруг вопроса о давности древне-персидского религиозного памятника Авесты. Духом ясного и светлого разума, улыбкой англо-саксонского юмора веет от этой книги; поражают широкий кругозор, непринужденный стиль, тонкое понимание злободневности многих таких вопросов, о которых людям наивным думается, что они погребены под слоем академической пыли. Интересно сопоставить историческое беспристрастие и широту анализа Брауна хотя бы с классическим трудом немецкого ученого Хаммера, с «Историей изящной словесности Персии», где, свыше

¹ Эккерман. Разговоры с Гете. М., Асадемия, 1935.

ста лет назад, утверждалось расовое родство персов и германцев (sic!).

Второй случай, о котором мне хочется тут рассказать, еще более характерен. Попробуйте представить себе общепонятное слово «авантюра» («adventure») в его обычном звучании и обстановке. С чем оно вяжется в литературе? С приключенческим романом, с так называемым легким чтением. В суровые и серьезные времена у серьезных читателей это слово уважением не пользуется. Но вот Арчибальд Хилл, крупнейший не только в Англии, но и во всем мире биохимик, — глубокий ученый и замечательный стилист, — осмелился своим научным очерком, где изложена суть его больших открытий в физиологии, предослать название: «Авантюры в биофизику». Книга была переведена на русский, наши физиологи хорошо ее знают.

О ней стоило бы написать специально, как о художественном произведении. Она имеет для нас, помимо научного, еще и чисто методологическое значение, она показывает, что не надо избегать легкости, завлекательности, изящества в анализе самых серьезных и трудных вопросов культуры. Большое уважение к массе, к человеку лежит в основе той воистину художественной прозы, которую лучшие ученые Англии пишут для народа свои книги. Арчибальд Хилл, рассказав во введении, как двадцать лет назад молодые физиологи Кембриджа собирались по воскресеньям в саду своего учителя, где они занимались с ним садоводством и слушали его рассказы, делает вывод: «В таких рассказах обычно можно найти то, чего не дадут статьи в научных журналах — живую картину «бытовой» стороны научного исследования... описание причин, вынуждающих вести научную работу в том или ином направлении, описание трудностей, с которыми приходится встречаться; огорчений при неудачах и радостей успехов...» Хилл считает, что «такие моменты, хотя бы частично, должны быть зафиксированы», и тогда людям легче будет поверить, что «изучение естествознания может стать одним из величайших приключений человеческого разума»¹.

То, что Арчибальд Хилл имеет в виду, есть, в сущности, реальное понимание жизненных целей науки, связь научного исследования с жизнью и с ее требованиями. И у Арчибальда Хилла видим все тот же великий практический смысл англичан и их направленность на реальное. Это желание сделать научный процесс, научное мышление понятным и интересным для широчайших кругов народа, вовлечь в него, как в «приключения разума», все человечество, — близко и нашей, советской культуре.

Должна еще добавить, что английская литература не ограничивается в своем стремлении к общедоступности лишь областью языка и формы. Есть в английской литературе одна тенденция, зародившаяся уже давно и имеющая корни не в

одном только искусстве слова. И опять-таки нет в настоящее время, пожалуй, ни одного культурного явления, которое было бы нам, советским людям, нужнее и ближе, чем эта англо-американская тенденция. Речь идет о важной и также близкой нам проблеме, и я позволю себе остановиться на ней подробнее.

Война с фашистско-немецкими ордами открыла перед нами обратную сторону того процесса специализации, который в Германии уже дошел до крайней своей точки и превращается в поистине чудовищный абсурд. Для германской науки специализация была за последнее время главным жизненным нервом, каждая специальная отрасль вырабатывала для себя и специальную терминологию, которая «простым смертным» казалась китайской грамотой. Чем непонятней, тем научней, чем специальней, тем непонятней, — это направление господствовало в немецкой высшей школе, в промышленности фашисты за являют, на вопрос о цели войны: «Это нас не касается, думать — не наше дело, за нас думает фюрер», то такое крайнее стремление от человеческой функции мышления есть как бы высшее карикатурное выражение тенденции к ультра-специализации. Там, где слово «гуманизм» считается ругательством, где разрушены нравственные силы и понятия, связующие человечество воедино, где при слове культура хватаются за револьвер, — там, само собою, рвутся и постоянно вырабатываемые человечеством мосты общего языка между отдельными областями человеческого знания и отдельными «специальными» техниками, рассчитанные на общую сознательную жизнь всех людей. Этот процесс обезчеловечивания культуры, обкрадывания человеческого сознания уже давно идет в фашистской Германии и дал свои практические результаты: миллионы немцев превращены в скотов.

К чести англо-американской культуры надо сказать, что у нее обратная тенденция, — к выработке общих понятий, лежащих в основе всех специальностей, к созданию необходимого общепонятного языка образованного человека, к объединению специальных терминов и к выработке единой основы, которая помогла бы сознательно разбираться в каждой науке. Практически эта тенденция привела в наши дни к усиленным поискам общих закономерностей в науках, к расширенному полю для наблюдения путем аналогий и к тому универсализму в образовательной системе, которым по праву может гордиться английская и американская высшая школа. Для нас же особенно интересно, как проявилась эта тенденция в литературе.

Именно для Англии и для Америки, давших своих знаменитых авто-дидаггов, людей с универсальным образованием, как, например, Спенсер, — характерны многочисленные попытки создания особого рода энциклопедий наук, не имеющих ничего схожего с обычными академическими энциклопедиями. Англичане пытаются создавать и создают книги, где излагаются — почти с художественной силой —

¹ А. В. Гилл. Эпизоды из области биофизики. Биомедгиз, 1935, стр. 7.

основные проблемы научных дисциплин. Излагаются они так, что, читая, не можешь не приводить в связь все многообразные явления умственной культуры, не можешь не видеть закономерных соответствий между разными науками, сходства в развитии физики, химии, биологии, связи этого развития с промышленностью, с изобретательством, с основными идеями и открытиями нашего времени. Такие энциклопедии — чрезвычайно близки по замыслу и нашей советской культуре.

Укажу, например, на четырехтомное издание абердинского профессора Артура Томсона — «Очерк науки. Полная история, просто рассказанная»¹. Начиная с астрономии и кончая современными течениями в невропатологии, книга охватывает буквально все разветвления естественных наук, по принципу, указанному еще Лейбницем и на который Томсон с полным основанием ссылается в предисловии: «Чем дальше развиваются науки, тем возможней становится конденсировать их данные в небольших книжках». Успех на долю книги Томсона выпал огромный. И успех этот заслужен. С первой страницы и до последней книга привлекает внимание читателя. Возьмем хотя бы первую статью, посвященную астрономии, под названием «Роман в небе». Можно себе представить, как много получают от книги Томсона тысячи людей в Англии и в Америке, занятых тяжелой работой, не получивших образования выше среднего или даже первоначального, — мелких торговых служащих, рабочих, всякого рода клерков, наконец, женщин-домохозяек. Советская литература с интересом и уважением следит за подобными начинаниями англо-американской литературы.

Но всякая встреча сильна взаимодействием. Мы знаем, что великая русская литература всегда привлекала к себе внимание англо-американского читателя. Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Горький переводились на английский язык неоднократно и сила воздействия их на читателей была очень велика. Судя по отзывам иностранной прессы, сейчас англичане и американцы с увлечением читают «Тихий Дон» Шолохова. Мне хотелось бы помочь нашим английским и американским друзьям разобраться в характере советского искусства, в специфике его новизны. Люди моего возраста и поколения, которые полжизни прожили еще при старом царском режиме в России, естественно привыкли сравнивать старое с новым в литературе, угадывать корни прошлого в побéгах нового и через новое лучше и ярче понимать наиболее ценное в старом русском искусстве. Мне хотелось бы поделиться с американскими и английскими читателями этими своими личными соображениями, оправданными опытом моей 53-летней жизни. Начну опять со сравнения.

В детстве и в юности любимой книгой моей был роман Диккенса «Наш общий друг» — первая книга, прочитанная по-английски. Я любила в ней и трогательную

нравственную тенденцию, и острую сатиру на общество, выведенное Диккенсом в Венеринге и его окружении. Но странно, — каждое повторное чтение этой книги оставляло меня к концу ее убийственно грустной. Я даже слез не удерживала, набегавших неизвестно почему. А ведь книга эта — совершенно исключительно, даже для Диккенса, счастливая, с архиблагополучной концовкой. Зло в ней полностью наказано, добродетель полностью торжествует, каждая героиня находит в ней своего героя и все женятся, Джон на Белле, Юджин на Лиззи, Винас на Плезант и даже хромая маленькая Дженни находит себе мужа. И в бездушном кругу Венерингов находится один настоящий человек, Твемло. В чем же дело? Откуда грусть и почему она? Много, много лет спустя, уже пожилым человеком, я прочитала совсем другую книгу, можно сказать столь же «безнравственную», с обывательской точки зрения, сколь высоко-нравственен роман Диккенса. Я имею в виду роман Лоуренса «Возлюбленный лэди Чаттерлэй». Тоже английский роман, написанный превосходно, но, кажется, запрещенный в Англии для широкого распространения. Но речь сейчас не о том. Прочитав Лоуренса, где все точно также оканчивается, совсем не в пример другим современным романам, удивительно благополучно и счастливо для героев, я вдруг почувствовала ту же необъяснимую, решительно неподходящую к случаю «диккенсовскую» грусть. Почему?

Как ни далеки друг от друга и по времени, и по всему своему нравственному облику обе названные мною книги, в них есть нечто схожее: известный вызов, который герои делают окружающей их routine. В романе Диккенса джентльмен Юджин женится на простой девушке Лиззи. В романе Лоуренса лэди выходит замуж за простого лесничего. В том и в другом случае симпатии авторов явно на стороне своих героев и против общепринятых правил «приличия». Но как и чем сражаются они против этих правил? Когда Юджин женился на рыбачке, его друг, адвокат, решил послушать, что говорит общество, и отправился на званый обед к Венерингам. Голос общества был, конечно, самый резко осудительный. Но вот маленький человечек, зависимый, робкий, некто Твемло, осмелился пойти против общества и выразить собственное мнение. Он сказал, что речь тут идет «о чувствах джентльмена к лэди» и что никто не вправе вмешиваться в эти чувства. Такова была защита, заставившая адвоката «примириться с человечеством». Когда героиня Лоуренса нарушает все правила и обычаи своего круга, бросает мужа и замок и выходит замуж за лесничего, автор не идет в «высшие круги», чтоб подслушать их мнение. Он сам, своей книгой, своей постановкой вопроса произносит свой приговор: он пишет всю книгу как своеобразный манифест. И это мнение, спустя несколько десятков лет после Диккенса, в романе, написанном обнаженно, конкретно, смело, — повторяет, в сущности, лишь защиту Твемло и не больше! Защита Твемло: каждая лэди имеет право любить вы-

¹ «The History of Science» by Arthur Thomson. London, 1936.

бранного ею человека, становящегося джентльменом, оттого что его любит леди; дело личных чувств; посторонним нечего вмешиваться; всем советуем руководиться в делах любви — любовью. И все.

Но откуда же, повторяю, грусть? От страшного, безнадежного чувства одиночества. От странного и ненормального соотношения между отдельным человеком и обществом, где собраны люди. От удивительного вывода о счастье, как о «приватном» деле. От страшной внутренней изоляции человека и семьи, супружеских пар, — словно каких-то одиноких островков, — в необъятном океане огороженного от них человечества. От защиты, единственной защиты Твемло!

Вот в этой области наша советская литература может дать англо-американскому читателю образец совершенно нового оптимизма. У нас есть книги, кончающиеся во всех отношениях неблагополучно: герои не женятся, положительные герои умирают, зло остается ненаказанным, добродетель не награждена. А все-таки, закрывая книгу, чувствуешь удивительный прилив любви к жизни, веры в жизнь, силы жить. Почему? Потому что здесь общество и индивидуум не разделены никакой стеной, человек живет в обществе; человек в советской литературе не пасынок истории, а ее творец; «голос общества» для него не голос со стороны; он сам этот голос. Каждая личная коллизия по-новому дает ему почувствовать общественный смысл индивидуального бытия.

Английский и американский читатель высоко оценил «Тихий Дон» Шолохова за его «объективность». Да, это книга большой, эпической объективности. И посмотрите, разберитесь в ней, какая могучая мысль несет все четыре ее тома! Роман

тоже, как будто, кончается счастливо: главный герой, Григорий, пройдя через всякие скитания и передраги, охваченный тягой к семье, возвращается на родину, видит сына. А между тем Шолохов сделал эту счастливую концовку человеческой трагедией. Он привел к сыну опустошенного, конченного человека. Почему? Потому что Григорий потерял свою связь с обществом. Григорий перестал творить историю. Он не нашел себя в ней. Он изолировался от народа, сошел с дороги, остался один. И таким, ненужным ни себе, ни семье, он добрал до родной хаты, — чтоб умереть, а не жить.

Большая идея, ясное сознание общественного, исторического бытия людей лежат в основе нашей советской культуры и проходят через всю советскую литературу; нет одинокого человека, индивидуум связан с обществом, задача его — творить историю, работать, бороться вместе со своим народом, неотрывно от него; одиночество, отрыв — это несчастье и смерть. Вот эта идея и питает наш оптимизм, она и реализуется сейчас в действии, в поголовном участии советских людей в обороне своего отечества. Нашим английским и американским читателям она может служить ключом к тем произведениям советской литературы, с которыми они будут знакомиться. И для нас эта идея, в свою очередь, служит критерием наших художественных оценок. Огромный успех книги Стейнбека «Гроздья гнева», превосходно переведенной у нас, и массовое издание этой книги объясняются именно наличием в ней высокого общественного оптимизма, а не только совершенством ее литературной формы. Такие книги служат грядущим читательским поколениям. Творческие встречи с ними глубоко плодотворны и для советской литературы.

К. ЧУКОВСКИЙ

Как я полюбил англо-американскую литературу

Я был сумбурный и нескладный подросток. Мне было шестнадцать лет. За четвертак я случайно купил на толкучке английский самоучитель — растрепанную книгу без конца, без начала — и стал мелем на крыше (бумаги не было!) выписывать idiotские фразы:

«Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?»

«Любит ли этот застенчивый юноша внучку своей маленькой дочери?»

Около пяти месяцев провел я за этим плодотворным занятием и, наконец, к великой своей радости, обнаружил, что я — правда, с грехом пополам — уже умею читать по-английски!

Это было для меня праздником праздников.

Знакомый еврей-переплетчик подарил мне книжку «The Poetical Works of Edgar

Poe». Я раскрыл книжку и прочел с восхищением: *Once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary...* и т. д.

Мне было понятно далеко не каждое слово, но благодаря этому, еще больше усилилось то очарование таинственности, которого добивался великий поэт. И хотя я произносил английские слова на свой лад (самым фантастическим образом!), все же эти стихи показались мне какой-то серафической музыкой, и я сразу же выучил их наизусть и декламировал на раскаленных крышах веселого южного города (так как в то время я был маляром и проводил на крышах большую часть своей жизни).

Если бы тогда мою декламацию чудом услышал какой-нибудь прохожий англичанин, он, конечно, не догадался бы, что он слышит английскую речь. Особенно свел меня с ума *Ulalume* того же Эдгара По, и